

*С. А. Романовский\**

## **ИНТЕНСИВНОСТЬ ЖИЗНИ И ВЛАСТИ: ФЕНОМЕН И РЕФЛЕКСИЯ**

Понимание накопления жизненных сил начинается с описания эпистемологической фигуры, сопологающей смысловую фактичность философии и антропологии. Согласно Иммануилу Канту, разум возвышается над условностью чувственности и творит историю в бесконечно большой величине. Однако мышление все же сводит удовольствие от возвышенного к просвещенному «вечному» миру, к средней величине, культивируемой норме. В гегелевской философии интенсивность жизни выходит за рамки величин и схватывается чисто логически. Фридрих Ницше проповедует волю, непрерывно исчисляющую свое самопреодоление. Отрицая ницшеанство, Мартин Хайдеггер не исчисляет жизнь, но мыслит ее наивысшую интенсивность и целостность в бытии к смерти. Новое развитие мысли об исчислении философия находит в теории биологии народов Ильзы Швидецки. Немецкий антрополог убеждает, что эпистемологическую фигуру составляют два источника жизненных сил — численность населения и наследственность. Главное, в эпистемологической фигуре присутствует неисчислимость бытия, заставляющая с максимальной интенсивностью осваивать ресурс численности населения и наследственности.

**Ключевые слова:** биополитика, интенсивность жизни, эпистема, становление философии, Ильзе Швидецки.

*S. A. Romanovskiy*

*THE INTENSITY OF LIFE AND POWER: PHENOMENON AND REFLECTION*

The accumulation of vitality begins with the description of the epistemological figure that juxtaposes the semantic facticity of philosophy and anthropology. According to Immanuel Kant, reason rises above the convention of sensibility and creates history in an infinitely large dimension. However, reasoning still brings pleasure down from the sublime to the enlightened «eternal» world, to the average value, the cultivated norm. In Hegelianism, the intensity

---

\* Романовский Сергей Александрович, соискатель, РГПУ им. А. И. Герцена, преподаватель высшей категории, Морской технический колледж имени адмирала Д. Н. Сенявина; ugerpnikova@mail.ru

of life goes beyond the bounds of value and is grasped purely logically. Friedrich Nietzsche advocates that the will continuously calculates its self-overcoming. Denying Nietzscheism, Martin Heidegger does not measure life, but deems its highest intensity and integrity in being-towards-death. Philosophy finds a new development of thought in Ilse Schwidetzky's theory about biology of human populations. The German anthropologist argues that the epistemological figure is made of two sources of vitality — population and heredity. Above all is that the epistemological figure contains the incalculability of being, which makes it necessary to master the resource of population and heredity with maximum intensity.

**Keywords:** biopolitics, intensity of life, episteme, development of philosophy, Ilse Schwidetzky.

Один из ведущих философских вопросов последних трех столетий европейской истории — вопрос об интенсивности жизни. Этот вопрос важен, т. к. заставляет переосмыслить единство гносеологии, онтологии, этики, эстетики, политики, биологии. Конечно, не существует знания о жизни вообще, но значима и действует эпистемологическая фигура, сопологающая фактичность различных наук — в первую очередь философии и антропологии.

Какое знание лежит в основании верных и справедливых биополитических решений? — вопрос, указывающий на актуальность исследования. Именно стимуляция рождаемости, улучшение наследственности, даже социальная политика являются частью общего проекта удержания высокого напряжения жизни.

Здесь крайность актуальности сходится с крайностью «антикварного» интереса. Изначальное более глубокое осмысление темы обязано немецкой философии XVIII–XX вв., отвечающей на вопрос об интенсивности жизни: *что* мобилизует, принуждает к накоплению и растрате жизненных сил, одним словом, *что* заставляет жить интенсивно, политически?

Материя интенсивна, утверждает Готфрид Лейбниц — свет, цвет, тепло обладают достаточной интенсивностью, пересекая порог нашего сознания, и наше сознание, сложенное из бесконечно малых представлений, проясняет участок бесконечно великой Вселенной.

В приобретении навыков самые трудоемкие действия тоже умяляются до бесконечно малых величин, доводятся до автоматизма. В этой связи Мишель Фуко употребляет выражение «микрофизика власти»: «Дисциплина обеспечивает распространение отношений власти до уровня бесконечно малых величин» [5, с. 264]. Можно добавить, что Иммануил Кант не отрицает навязываемой извне «микрофизики»: школьная дисциплина есть необходимое условие того, что человек станет разумным животным. Разум возвышается над чувственностью в бесконечно большой величине и предписывает свою дисциплину всемирной истории. Следовательно, из-за небольшой интенсивности жизни просто невозможно сформировать характер человека, поэтому власть, опираясь на разум, должна воздействовать как нечто возвышенное.

Именно ответственность перед возвышенной бесконечностью поколений, перед своим народом и всем человечеством служит разворачиванию всех жизненных сил, обострению антагонизма добра и зла, общительности и эгоизма. Кантовский моральный долг велит относиться к человечеству как в своем лице, так и в лице всякого другого как к цели.

В реальной истории несовершеннолетие народов, зависимое от всесторонней государственной поддержки, и несовершенство человеческой природы, провоцирующее бесчисленные войны, очень сдержанно раскрывают технические, культурные, моральные задатки. Опыт и мышление все же сводят удовольствие от возвышенного к норме, регулярности, средней величине. Но в гегелевской философии интенсивность разумной жизни выходит за рамки величин и схватывается диалектически. Перед смертельной опасностью слабый уступает сильному: «Побежденный подчинил свое человеческое желание Признания биологическому стремлению сохранить свою жизнь; тем самым определилось и раскрылось — ему самому и его победителю — его подчиненное положение» [3, с. 216].

Можно сказать, что свободное самосознание отрицает налично-данное, природное. Рабский труд тоже очеловечивает природу, но многолетний количественный рост, выраженный в накоплении денег, приобретении собственности, удовлетворении потребностей, сохраняет «чувство своей внутренней ничтожности» [2, с. 230]. Частное материальное обогащение, описываемое в политэкономии, привязано к единичной определенности и снижает интенсивность всеобщей жизни. Немного иначе полиция «как дисциплина в единичном» ограничена формальной всеобщностью. Науки и искусства, встроенные в полицейскую систему, просвещают, но не затрагивают нравственное начало народа: «Нравственность в своем различии само должно созерцать свою жизненность», «такое различие есть враг» [2, с. 331].

В эпоху кровопролитных войн смертельная опасность не разделяет, а уравнивает господина и раба. На войне человек осознает принадлежность к абсолютной нравственной целостности, т. е. к народу. Война спасает нравственное здоровье народа, так же как ветер спасает озеро от гниения. Безразличная, свободная от всякой личности ненависть к врагу не переступает границ формальной всеобщности. Храбрость остается всеобщей формальной добродетелью, уничтожающей другие добродетели, которые суть «вне всякого отношения к определенной целокупности (положению гражданина в целом), и, следовательно, суть также и пороки» [2, с. 332].

Напротив, абсолютно всеобщее есть рождение детей, «объективное становление самого себя в качестве этого народа» [2, с. 216]. В конце гегелевской «Науки логики» идея рода должна была снять особенность живых поколений и сообщить себе реальность простой всеобщности, имеющей своей определенностью и своим наличным бытием всеобщность — идею познания. Однако возникает серьезная проблема: если человеческое размножение ничем не отличается от животного, то неясно, за счет какого особенного противоречия человеческий род возвышающе преодолевает сам себя. Ведь, соответственно, народ, продлевающий себя в снятии каждой индивидуальности, бессилен преодолеть непосредственность своей природы. Смертельная опасность, не удержав наивысшее напряжение жизни, впадает в дурную бесконечность, бессмысленный количественный прогресс. Неслучайно со второй половины XIX в. немецкая философия переходит к неисчислимой, рискующей всем жизни с помощью тех же самых «кантовских» бесконечно малых и средних величин.

Идея воли к власти стремится у Фридриха Ницше ко времени, подобному эпохе Ренессанса, времени наивысшего человека, неспособного к накоплению и в утверждении жизни растрачивающего все силы. Ницше рассуждает о частицах воли к власти: прочная связь мельчайших единиц, «аристократия клеток» осваивает новые перспективы в мире, сознательно обработанном и сведенном к средней величине. Философская критика переоценивает достижения наук, искусств, права, вроде бы не подлежащие сомнению, но уже слабо очеловечивающие жизнь. Столь же необходимо преодоление всего человеческого. Старое Просвещение уравнивало всех, новое Просвещение расчеловечивает и указывает, до какой степени сверхчеловеку «позволено все то, что запрещено стадным существам» [4, с. 275]. Таким образом, движения, зримо предстоящие сознанию, сворачиваются до бесконечно малых величин и совершаются естественно, инстинктивно, бессознательно. Новое знание приносит аполлоническую ясность — наслаждение мерой.

Можно сказать, что вообще очеловечивание и расчеловечивание рассчитывают друг на друга, не допуская взрыва силы и переоценки всех ценностей. Воля, непрерывно исчисляющая свое величие, уничтожает мир, без расчета играющий своими силами.

В результате бесконечное накопление сил оправдывает расчет на великий расцвет культуры и властолюбие в стиле нового Просвещения. Отрицая исход нищестанства, Мартин Хайдеггер ярко закрывает тему интенсивности жизни. Историк философии должен выявить особое единство мыслей, рассеянных в «Черных тетрадах» с 1931 г., «К философии (О событии)» 1938 г. и других сочинениях «немецкого мастера».

Начнем с того, что человек, осваивая сущее, приближает антропологические, психологические, историографические знания к своей жизни. Уже в XVII в. внимание философов смещается от исканий истины всего сущего к антропологии. Хайдеггер подчеркивает: учение Ницше, в котором всё, что есть и как оно есть, становится «собственностью и произведением человека», лишь до конца раскрывает учение Декарта, согласно которому всякая истина сводится к самодостоверности (*Selbstgewißheit*) человеческого субъекта [8, с.112]. Так же новоевропейское национальное государство, создаваемое как субъект международных отношений, должно удостовериться в истине, накопив наибольшее количество сил. *Антропология* развивается на службе государства: «...здесь подсчитывание человеческих экземпляров как бы доведено до предела» [10, с. 127]. Далее, из общегосударственной пользы антропологическое мышление рассчитывает и сужает все возможное сущее.

Антропологическое мышление, стало быть, увереннее овладевает сущим, когда утрачена вера в высшие ценности и нет ничего более ясного, чем то, что человек сам создает и ниспровергает государство, великие идеи, любовь и богов. Вслед наступает психологическое состояние нигилизма, затрудняющее освоение и смену перспектив: жизнь, направленная на становление вовне, останавливается в потоке бессвязных и зацикленных на себе переживаний.

Основная перспектива становления нигилизма раскрывается в том, чтобы распланировать жизнь исходя из прошлого. *Историографическое* описание с легкостью охватывает психологию: Историография есть психология опред-

меченной истории. «Психология» — это историография «бессознательного», «глубины», «пра-типического», того, что считается «вечностью», основанием, das Hurokeimenon, сущностью и живым воплощением платонических идей; современное мышление не замечает ни «сущности», ни бытия; самое большее — данные «глубины» стараются приписать «вечности» и сделать доступными исчислению с помощью логики [12, S.91]. К примеру, историография искусств устанавливает образцы для подражания, превращая их в пустое переживание современности. Общедоступное наследие прошлого остается лишь в услужении актуальной жизненной ситуации. В музее, театре, кино масса приобщается к гению, используя все-оценивающее и все-усредняющее ratio.

В целом историография проследживает прогресс очеловечивания в психологии, культуре, политике и других областях знания. Управление историей, зависимое от гуманитарных наук, нельзя отличить от власти над природой, основанной на естественно-научном знании. И чем легче человек находит в себе масштаб исчисления всему, тем скорее сливается с *безмерностью*, означающей крушение всех масштабов, исчезновение всякой соразмерности существования и мира.

В малой величине, в «мире» атомной физики сущее усредняется во всем, разрушая последние рубежи устойчиво воспринимаемого мира: **«Стремление к минимальному во всех науках, в разного рода знаниях и вопрошании, есть крайнее усиление максимального»** [12, S.484]. Расчеловечивание привносит еще более точную исчислимость в антропологию, психологию, историю.

Неужели, следует спросить, человек, это «большое» неустановленное животное, способен экономно рационально управлять большей частью Вселенной или хотя бы своей землей? Ведь существо, впавшее в животное оцепенение, не воспринимает отличное от себя сущее и опустошает землю в неудержимой страсти. Самое страшное опустошение незаметно: самоуничтожение продолжается в бесцельном взращивании поколений. Вместо народа заступает масса не-народа, некое усредненное сверхчеловечество, Das Man. Антропология утверждает высшую форму нигилизма в массовости, усредненности всего живого. Все обесценивается и не служит более прекрасной иллюзией, укрепляющей волю. Не-сущее не кажется сущим, сущее не кажется бытием, жизнь не кажется прорывом и напоминает «набор постоянно повторяющихся путей и форм» [11, с. 155].

Это всеобщее усреднение сопротивляется любой умеренности и распространяет однообразную психологию, уравнивающую оригинальное и обыкновенное, далекое и близкое. Сбережение животной жизни, низведенной к средней величине, остается единственно достойной целью: «Теперь существует один-единственный уровень «жизни», уполномочивающей саму себя ради себя же самой» [8, с. 19]. Власть, стало быть, расчеловечивает психику в бесконечной игре само-преодоления, само-возвышения. Разнообразные шоу, от творческих вечеров до спортивных состязаний, воспроизводят всплески эмоций, но исключают накопление и растрату жизненных сил. При этом неважно, увеличивается или уменьшается материальное благополучие населения.

Казалось бы, легко сохранить душевное «здоровье», используя все наличные средства, но обрести еще большее здоровье, значит оправдать и увековечить

чить себя в настоящем времени. В условиях давящей всеобъемлющей жизни человек мыслит как историографическое животное.

Таким образом, все сказанное, сделанное и узнанное встраивается в установленный ряд событий, затемняющий прошлое, бесполезное для жизни, увековеченной в настоящем времени. В конце концов, историография развивается до стадии, лишенной всякой истории. Вне истории и событий начинает исчисляться все, даже «трагедия становится «объектом» планирования» [11, с. 245], ««Лоэнгрин» и опять-таки «Лоэнгрин» и танки и эскадрильи самолетов — все это связано друг с другом, являются одним и тем же» [10, с. 160]. Такой апогей истории точно описывает А. А. Грякалов: «Предельность переживания времени соотносена с неопределенностью места («у-топия» или «а-топия»)» [1, с. 74]. Безмерность-безместность развязывает ничем не сдерживаемую борьбу за жизненно необходимые ресурсы.

Воля к власти, следовательно, абсолютно и без-исторично овладевает всем сущим, вследствие чего все утрачивает свою сопротивляемость и напоминает призрака в царстве всеобщей рукотворности. Просчитываемое использование переживаний и удовольствий заменяет жизнь, а большие мероприятия и публичное представительство — народ. В сущности, можно констатировать, очеловечивание и расчеловечивание не приносят ничего нового, animal rationale доводит две свои основные способности до крайней степени: ratio осуществляет предельную расчетливость в очеловеченном мире, а животность упорствует в брутальной воле.

Во-первых, субъект «расщеплен» на множество переживаний, поэтому его жизнь всюду подвержена исчислению, т. е. предана махинации. Единичная жизнь поддается большей рационализации и упрощается до общего интереса — обеспечения безопасности.

Во-вторых, в единое целое собирается воля, рассчитывая свою власть над миром. Человечество превращается в сверхчеловечество, готовое развязать невиданное насилие. Можно заключить, что сверхчеловечество изобретет более изощренные способы самоконтроля и продолжит бессмысленно размножаться, если не будет спрошено бытие — отрешенное и далекое от всякого сущего, ускользающее в неисчислимое. Дело именно в том, что бытие ни на что не воздействует: «...приходит всегда из отсутствия бытия, чья мощь и настойчивость не меньше, чем таковые у наступления» [7, с. 303]. Рассеивание бытия есть ярость, охватывающая человека.

Так в мышлении о бытии очеловечивание и расчеловечивание не отступают, но освобождают. Да, место фактичности жизни, место ее бытийного смысла, ее глубинного движения здесь и сейчас, отвергающего историографию — «бесперебойное течение упорядоченного процесса неограниченного использования всех имеющихся сил» [10, с. 266]. Человек как сущее, вскрытое к бытию, экстатичен, вынесен вовне, яростен и настойчив: «Чтобы в человеке Dasein стало мощным и сделалось для него мерой и властью!» [9, с. 22]. В то же время Dasein лишено человеческого: «...как брошенное вторжение, которое ссорится с — сущим (расщепление)» [9, с. 233]. Мир как бытие среди людей спорит с жизнью, плотью, родом — всем, что философ выражает словом «земля». Между миром и землей сбывается Dasein: «Мастерство свободного предостав-

ления самых широких пространств действия созидающего роста через себя» [7, с. 375]. И только тот, кто перерастает себя, способен объединиться с кем-то.

Одиночество одиночеств, Dasein — это уже народ, который решает основать свою историчность. Необходимая решимость есть протяженное устояние: «...судьба держит рождение и смерть вместе с их «между» в свою экзистенцию «включенными»» [6, с. 391]. История совершается как промеривание сущностного блуждания «между». Хайдеггер в «Черных тетрадах» 1931–1938 гг. эту роковую мысль высказывает расплывчато поэтично, лишь в бездне народ «обретет высоту, чтобы себя перерастить, и глубины, чтобы пускать корни в темноту и иметь скрывающее себя как опорное (в самом деле <как> землю)?» [10, с. 456]. Выходит, совершенно разные люди, открытые друг другу в мире, вовлекаются в одно и то же кольцо инстинктов, сберегая сокрытость земли.

Жизнь народа не субъективна, но фактически укоренена в истории, т. к. не утверждает своей безусловности, не обнадеживает себя прошлой и будущей бесконечностью. «Вот», «здесь» бытие к смерти обнажает острие высшей историчности и основание истины: «...историческое величие народа в создании (Erwirkung) и формировании сил бытия (Seinsmächte)» [10, с. 154].

Эта мысль, отвергающая нищезанство, отступает к неразрешимой гегелевской проблеме: в смертельной опасности удастся не исчислить, но с наивысшей интенсивностью испытать целостность жизни. Неисчислимо, неделимо живое настоящее входит в историю. Несомненно, история философии — это не линейный рассказ о тупиковых линиях развития идей, но архив высказываний, готовых к переосмыслению и перезаписи. В связи с этим будет уместно описать тематическое единство философских положений, приведенных выше, и научной теории Ильзе Швидецки — выдающегося немецкого антрополога середины XX в.

Научно-философский анализ выносит за скобки невидимую игру бесконечно малых величин. Сознание создает видимость, перспективу, сводит бесконечное многообразие движений к набору средних величин. Книга 1950 г. «Основы биологии народов» наводит на мысль, что эпистемологическую фигуру составляют две видимости *численности населения и наследственности*. Знания о численности населения и наследственности происходят из одного источника — фактичности жизни.

Существование народа есть факт, очерчивающий особую научную область. Биология народов — это раздел сравнительной биологии человека, изучающий этноморфоз, т. е. то, как меняются кровно связанные общности, приспособляясь к природе и культуре. Собственно, народ — это круг брачных связей, заданный природой и культурой. Биология народов не является естественной наукой, но всегда достигает естественно-научной строгости, где это возможно. Человеческий организм слишком сложен, чтобы установить очевидную закономерность отношений между ним и массой внешних раздражителей. Антрополог описывает не всеобщие закономерности, а правила, устанавливаемые в определенное время, при определенных условиях.

Два основополагающих процесса, *отбор* и *просеивание* упорядочивают жизнь в самых существенных аспектах.

Отбор исключает из размножения наименее приспособленных к среде. Просеивание отвечает за распределение схожих признаков. Скажем, низкий

рост сапожников в Дании или соответствие уровня интеллекта и социального происхождения школьников Нижней Саксонии. Отбор и просеивание разграничивают следующие области знания: биологию миграций, социобиологию, биологию размножения.

В эпоху ранних миграций естественный отбор разделяет примитивные и прогрессивные расы. Крайнее местоположение сковывает в развитии австралоидов, бушменов, веддидов. Развитие рас, осваивающих лучшее жизненное пространство, проходит в единстве физического типа, воли, таланта.

Кроме вытеснения, распространенной формой международных отношений становится социальное расслоение: в Африке эфиопиды-скотоводы подчиняют себе негроидов-крестьян, индоевропейцы — местное население Индии. Естественный отбор со временем ослабевает, но, как правило, обеспечивает прогрессивность высшего сословия в сравнении с низшим.

В новой истории встречаются вытеснение и социальное расслоение, но они уступают место другой форме международных отношений — мобильности. Индивидуальная предрасположенность и внешняя необходимость приводят народные массы в движение. Здоровые юноши и мужчины мигрируют чаще, чем женщины, старики, больные. Мигранты могут представлять сливки общества или отребье, сильно отличаться или совсем не отличаться от оставшихся на родине.

Вертикальная социальная мобильность предполагает наличие у человека прогрессивных психофизических черт. Сословные ограничения неизбежно снимаются, наверх просеивается больше тех, кто способен выполнить функцию власти. Другой пример: общество, предоставляющее возможности самореализации, привлекает и ассимилирует лучших представителей чужих народов.

В данном случае биолог обязан узнать, как просеивание и отбор направляют этноморфоз. Просеивание облегчает работу отбора, удерживая вместе людей одного типа. Далее сходство признаков усиливается тем, что «каждый слой стремится восполнить себя из собственных потомков. Это естественный закон, одаренные люди с большей вероятностью рожают одаренных детей, чем неодаренные» [13, S. 41]. Следует отметить, что взаимно отбор облегчает работу просеивания, определяя, кто размножается больше, а кто меньше. Если все необходимые наследственные вариации воспроизводятся лучше «минус-вариантов», то среди множества предложений несложно удовлетворить социальный спрос и предоставить работу в соответствии с индивидуальной предрасположенностью. Итак, в процессе просеивания жизненность исчисляется в средней величине биологических утрат и приобретений. Интенсивность отбора исчисляется в норме, различающей все степени одаренности и учитывающей ритм размножения различных рас или слоев общества.

Такая исчислимость населения и наследственности не исчерпывает описания эпистемологической фигуры. Историк идей вправе спросить себя, существует ли общее место биологии народов и философии, где интенсивность жизни использует точное антропологическое знание, но остается при этом неисчислимо событийна.

В 1954 г. Ильзе Швидецки издает книгу «Проблема смерти народов». Чему учат исчезнувшие с лица земли древние египтяне, древние греки и римляне,



персы, майя, вавилоняне, ассирийцы, финикийцы, вестготы, вандалы, ацтеки, тасманийцы и др.?

После войн не оправались финикийцы, ацтеки, вандалы, ассирийцы, вавилоняне. Принудительное переселение убило тасманийцев. Расовое смешение обратило древних египтян в новых. Майя и вестготы растворились среди других народов. У древних греков и римлян слаженно работали все механизмы распада общности: насилие, добровольное ограничение рождаемости, вырождение элиты, расовое смешение. Подобное умирание народа Шведецки называет этнической диссимилиацией, в которой просеивание и отбор почти не участвуют в процессах воспроизводства населения, элито- и расообразования. С другой стороны, в каждом механизме распада слабеющей общности набирают большую силу просеивание и отбор возвышающего себя народа.

Бесспорно, малочисленный народ легче ассимилировать и уничтожить. В эпоху упадка добровольное ограничение рождаемости срабатывает как отбор, направленный на общее сокращение численности населения. В столицах — Афинах и Риме — особенно было заметно снижение рождаемости. Конечно, многочисленный народ слабеет неопределенно долго, растрчивая свои таланты. Города Греции пустеют в IV в., торговцы, ремесленники, художники уезжают на Восток. Отбор тоже не благосклонен к элите, с трудом воспроизводящей себя изолированно от масс.

Наконец, опасное расовое смешение вызвано слабо просеивающей властью, неспособной навязать ритм размножения другой расе. Вспомним, Вавилония не смогла полностью ассимилировать третью семитскую волну миграции, арамеюв, привыкших к условиям города, но ведущих на земле кочевой образ жизни.

Теперь, углубившись в теорию, логично выяснить, как перейти к политике. Неизбежно ли угасание интенсивности жизни? Народ не знает биологической смерти, когда все линии наследственности, образующие особое единство поколений, выходят из обращения у всего человечества. Народ считается умершим, если никто не причисляет себя к нему. Просеивание и отбор приближают смерть известную историографии, несмотря на все уникальные перипетии народной судьбы.

Допустим, один народ процветает среди других народов, привлекая и ассимилируя одаренных индивидов. Ослабить другого, чтобы усилить себя — политика до сих пор следует этой древней формуле, из-за больших пробелов в знании антропологии. Где пролегает граница между наследственностью таланта и волей, развивающей наши способности? Когда расовое смешение отягощено болезнью и когда предопределяет великое творчество?

В научном споре рождается заблуждение (*Irre*). Движение, блуждание мысли как бы уводит народ из международных отношений — публичных и частных связей. Философия вопрошает, как жить для себя и за счет собственных сил. Безусловно, фактическая жизнь ослабляет просеивание и отбор вне государства и усиливает внутри.

В изучении биологии народов философская рефлексия продолжает свое развитие. Не культура, язык, ландшафт, закон, а бытийствующий смысл самой жизни сдерживает в должной мере ассимиляцию и диссимилиацию, не привлекая чужеродных элементов и не рассеивая своих.

Фактическая жизнь — это не бесчеловечное отрицание и не человеческое восприятие Другого, но соразмерность мира и земли, численности населения и наследственности. Фактически жизнь не целостна, но разделена между нормой, навязываемой извне, и нормой наследуемых свойств.

Таким образом, неисчислимое «здесь и сейчас» отрицает приоритет актуальной социально-экономической ситуации, открывая многолетнюю перспективу становления власти. В эпистемологической фигуре присутствует неисчислимость бытия, заставляющая с максимальной интенсивностью осваивать ресурс численности населения, раскрывающей возможности одного мира, и ресурс наследственности, связанной с одной землей.

Вероятно, XXI век не станет веком новой биополитики, важно другое — эпистемологическая фигура производит власть с большей точностью и справедливостью актуальных решений.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Грякалов А. А. Письмо и событие. — СПб.: Наука, 2004. — 485 с.
2. Гегель Г. В. Ф. Политические сочинения. — М.: Наука, 1969. — 437 с.
3. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. — СПб.: Наука, 2013. — 791 с.
4. Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. — М.: Культурная революция, 2012. — Т. 11. — 688 с.
5. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. — 416 с.
6. Хайдеггер М. Бытие и время. — М.: Академический Проект, 2013. — 460 с.
7. Хайдеггер М. К философии (О событии). — М.: Изд-во Института Гайдара, 2020. — 540 с.
8. Хайдеггер М. Ницше. — СПб.: Владимир Даль, 2007. — Т. 2. — 457 с.
9. Хайдеггер М. Размышления II–VI (Черные тетради 1931–1938 гг.). — М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. — 584 с.
10. Хайдеггер М. Размышления VII–XI (Черные тетради 1938–1939 гг.). — М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. — 525 с.
11. Хайдеггер М. Размышления XII–XV (Черные тетради 1939–1941 гг.). — М.: Изд-во Института Гайдара, 2020. 337 с.
12. Heidegger M. Anmerkungen I–V (Schwarze Hefte 1942–1948) // Heidegger M. Gesamtausgabe. — Frankfurt am Main: Klostermann, 2015. — Bd. 94 / ed. P. Trawny. — 528 S.
13. Schwidetzky I. Grundzüge der Völkerbiologie. — Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1950. — 312 S.